

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЁК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“

1949

СОДЕРЖАНИЕ

Повести и рассказы

	Стр.
Андрей Колосов	5
Бреттёр	28
Три портрета	65
Жид	88
Петушков	102
Дневник лишнего человека	136
Три встречи	176
Муму	200
Постоялый двор	222
Собственная господская контора (<i>Отрывок из неизданного романа</i>)	261
Примечания	270

Б И Б Л И О Т Е К

„ОГОНЕК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Н. Л. БРОДСКОГО, И. А. НОВИКОВА, А. А. СУРКОВА

Т О М

5



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Москва. 1949

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

АНДРЕЙ КОЛОСОВ

В небольшой, порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался, самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел, — голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:

— Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнает мнение своего противника, и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим, и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?

Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.

— Так что ж нам, по-твоему, делать? — сказал один из нас: — играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?

— Приятно играть в карты, и полезно спать, — возразил небольшой человечек: — а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.

Мы задумались.

— Странное дело, — заметил один из нас, большой шутник: — кроме самого себя я не знаю ни одного необыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете...

— Нет, — воскликнул другой: — не нужно! Да что, — прибавил он, обращаясь к небольшому человечку: — начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.

— Пожалуй, — отвечал тот.

Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:

— Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом, в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольно количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно, с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я об ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня на смерть.

— К делу, к делу! — кричали мы. — Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?

— Нет, господа! — возразил спокойно небольшой человечек: — я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один, довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его... знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то... Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, ко-

торый у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор, как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор — за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций, а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были лъстецы и прислужники... что я говорю — у меня! даже у моей куцой собаки Армишки, которая, несмотря на свою лягавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало — я чувствовал свое одиночество, *жаждал* сообщения с так называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: *жызнь*) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку... Валерьян Никитич, пожалуйста мне пахитос.

Закурив пахитос, небольшой человек продолжал:

— В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: — «Знаешь, брат, великую новость? Кóлосов приехал». — Кóлосов? что за птица господин Кóлосов? — «Ты его не знаешь? Андрюшу Кóлосова? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером вернулся с *кондиции*». — Да кто он такой? — «Необыкновенный, братец, человек, помилуй!» — Необыкновенный человек, — промолвил я: — ступай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!... — «Э, нет! Кóлосов не такой». Я было хотел заметить Бобову, что г. Кóлосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы... Дом, в котором жил Кóлосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли во двор; толстая баба развешивала белье на веревочки, протянутые от дома к забору... дети перекрикивались на деревянной лестнице...

— К делу! к делу! — возопили мы.

— Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. Пожалуй! Через темный и узкий проход добрались мы до комнаты Кóлосова; — вошли.

Вы, вероятно, имеете приблизительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комод сидел Кóлосов и курил трубку. Он дружески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Кóлосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Кóлосов был действительно необыкновенный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подробнее. Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо... Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо. Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно *этого* лица.

— То, что Байрон называет: «the music of the face»¹, — заметил один, перетянутый и бледный господин.

— Так-с... А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Кóлосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица, да еще в улыбке чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попадье; пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и русскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников; а, во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Кóлосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Кóлосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Кóлосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам; веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно — эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа, — я понимаю вашу улыбку: точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость... молодость...

¹ [«музыка лица».]

— Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory...¹

промолвил тот же бледный господин...

— Фу ты, чорт, какая у вас память! и всё из Байрона! — заметил рассказчик. — Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И, между тем, мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь... именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например: ревность. Кóлосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого белокурого и смирного малого, по имени Гаврилова. С этим Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешептывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три... Кóлосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Кóлосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог объяснить себе причину странных отлучек Кóлосова. Между тем, в нем не было ни той таинственности, которую шеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая, стремительная деятельность; только он не тратил своей силы попустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа... скажите правду: не случалось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Кóлосове эти невольные, страстные порывы... Не даром говорят, что любовь проницательна. Я решился — во что бы то ни стало — втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Кóлосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности... но к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Кóлосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошеной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы — и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова... В течение целой зимы мои отношения к Кóлосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с

¹ О, не говорите мне о славном имени!
Дни нашей молодости — дни нашей славы...

Гавриловым — и не мог понять, чем он лучше меня... Но вдруг все переменялось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину... Я тоже искренно сожалел о нем... но сердце во мне замирало, ждало чего-то... В один незабвенный вечер — я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок — кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня. — «Я пришел к тебе, — начал он довольно глухим голосом: — потому что ты более всех других меня любишь... Я потерял своего лучшего друга, — голос его слегка задрожал: — и чувствую себя одиноким... Вы все не знали Гаврилова... вы не знали...» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне... «Хочешь ли ты заменить мне его?» — сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула... Я не знал, что сказать, я задыхался... Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь — и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться — не похвастаться своим счастьем. Пробило восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать... и молча сел на стул. Я взял его за руку. — Колосов! право, право, я заслуживаю твою доверенность! — Он взглянул мне прямо в глаза. — «Ну, если так, — промолвил он наконец: — бери шапку, пойдем». — Куда? — «Гаврилов меня не спрашивал». — Я тотчас же замолчал. — «Ты умеешь играть в карты?» — Умею.

Мы вышли, взяли извозчика к ...ой заставе. У заставы мы слезли — Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо — в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми парами. Я шел молча за Колосовым. Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме, — продолжал Колосов: — живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой девицей — и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника — ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я

умею молчать не хуже Гаврилова.. Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки... Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепиано смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замасленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы... «Хорош гусь!» подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич,— промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку:— давненько! А где Севастьян Севастьяныч?» — «Гаврилов умер»,— печально проговорил Колосов.— «Умер! вот-те на! А это кто?» — «Мой родственник — честь имею представить — Николай Алекс...» — «Хорошо, хорошо, — перебил его Иван Семеныч:— рад, очень рад. А в карты играет?» — «Играет, как же!» — «Ну, и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна — где ты? карточный стол — поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г. Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. — «Послушай,— сказал он:— мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. — «Что ж вы, батюшка, как вас зовут — пожалуйста сюда»,— воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиния была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты: перед диваном, из которого в нескольких местах высывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухощавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая, сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. — «Вот,— сказал Иван Семеныч:— рекомендую; прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого — посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся. Колосова уже не было в комнате. — «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна,— овцы кашляют», проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Г-н Сидоренко ужасно горчился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпал сестру, упреками; но она, повидимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. — «Вы, Иван Семеныч,— прогово-

рила она с сердцем: — супругу свою, Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» — «Будто?» — «Нет! не уморите!» — «Будто?» — «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незavidно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Кóлосову вздумалось привести меня... Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет!» — повторял беспрестанно отставной поручик: — далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренне посылал его ко всем чертям. Эта попытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум — оглянулся и увидел Кóлосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой поглядывала на меня. — «Набей-ка мне трубку, Варя», — проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худа; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился, Сидоренко закурил трубку и возопил: — «Ну, теперь пора ужинать». — Кóлосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Кóлосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепиано, попросил ее сыграть плясовую и пустился отхватывать казачка взáпуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхоталась и ушла к себе наверх. Горбатая старушка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Кóлосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Кóлосова... и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его — и любима им... Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась... Я радовался за Кóлосова... А между тем, мне было — чорт возьми — завидно...

После ужина мы с Кóлосовым тотчас взялись за шапки, что однако ж не помешало поручику, позевывая, сказать нам: — «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Кóлосова до передней. — «Когда же вы придете, Андрей Николаевич?» шепнула она ему. — «На днях, непременно». — «Приведите ж и его», прибавила она с весьма коварной улыбкой. — «Как же, как же...» Покорнейший слуга! подумал я...

На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Кóлосов довольно странным образом познакомился

с г. Сидоренко. В один дождливый вечер Кóлосов возвращался домой с охоты — и подходил уже к ...ой заставе, как вдруг в недалеком расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был г. Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечением испуганной сестры и дочери, сбежал за доктором... Между тем, настало утро; Кóлосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидеть раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Кóлосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал трубку и, помолчав немного, закричал: «сестра! а, сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этог... как его зовут, чорт знает! ушел что ли?» — «Нет, я еще здесь», — отвечал Кóлосов, подойдя к дверям: — вам лучше теперь?» — «Лучше, — отвечал поручик: — войдите-ка сюда, батюшка». Кóлосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне — как вас зовут, чорт вас знает?» — «Кóлосов», возразил Андрей. — «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Кóлосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом все чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику — да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма не любезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческого. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба... свадьба, — проговорил он: — ну, на какой

дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтoб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Кóлосов ходил к нему, — разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец, — сказал он ему: — тебе, я вижу, весело болтать с моей единородной, а мне, старику, скучно: приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следующий день Кóлосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Кóлосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Кóлосов прибавил: «я люблю Варю; она премилая девушка; ты ей понравился».

Я, кажется, забыл довести до сведения вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщин и избегал их, хотя, бывало, наедине по целым часам мечтал о свиданьях, о любви, о взаимной любви и т. д. Варвара Ивановна была первая девушка, с которой необходимость заставила меня поговорить, — именно необходимость. Варя была девушка обыкновенная, — а между тем таких девушек весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замечал в ней ничего натянутого, неестественного, жеманного; оттого, что она была простое, открытое, несколько грустное создание; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мне нравилась ее тихая улыбка; я любил ее простодушно-звонкий голосок, ее легкий и веселый смех, ее внимательные, хотя совсем не «глубокие» взоры... Этот ребенок не обещал ничего; но вы невольно любовались им, как любуетесь внезапным мягким криком иволги вечером, в высокой и темной березовой роще. Я должен сознаться, что в иное время я довольно равнодушно прошел бы мимо такого создания: мне теперь не до вечерних одиноких прогулок, не до иволг; но тогда...

Господа, я думаю, вы, как все порядочные люди, были влюблены хоть раз в течение своей жизни и на собственном опыте узнали, каким образом зарождается и развивается любовь в человеческом сердце; а потому я не стану слишком распространяться о том, что происходило во мне тогда. Мы с Кóлосовым довольно часто ходили к Ивану Семенычу; и хотя проклятые карты меня не раз приводили в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины (я полюбил Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада.

Я не старался подавлять это возникающее чувство; притом, когда я наконец решился назвать это чувство по имени, оно уже было слишком сильно... Я молча лелеял и ревниво и робко таил свою любовь. Мне самому нравилось это томительное брожение молчаливой страсти. Страдания мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по целым дням ощущал в груди то особенное физическое чувство, которое служит признаком присутствия любви. Я не в состоянии изобразить вам ту борьбу разнороднейших ощущений, которая происходила во мне, когда, например, Кёлосов возвращался с Варей из сада, и все лицо ее дышало восторженной преданностью, усталостью от избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута им, что незаметно перенимала его привычки, так же взглядывала, так же смеялась, как он... Я воображаю, какие мгновенья провела она с Андреем, каким блаженством обязана ему... А он... Кёлосов не утратил своей свободы; в ее отсутствии он, я думаю, и не вспоминал о ней; он был все тем же беспечным, веселым и счастливым человеком, каким мы его всегда знали...

Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Кёлосовым к Ивану Семенычу довольно часто. Иногда (когда он не был в духе) отставной поручик не засаживал меня за карты; в таком случае, он молча забивался в угол, хмурил брови и поглядывал на всех волком. В первый раз я обрадовался его снисхождению; но потом, бывало, сам начну упрашивать его сесть за «вистик»: роль третьего лица так невыносима! я так неприятно стеснял и Кёлосова и Варю, хотя они сами уверяли друг друга, что при мне нечего церемониться!..

Между тем, время шло да шло... Они были счастливы... Я не охотник описывать счастье других. Но вот, я стал замечать, что детская восторженность Вари постепенно заменялась более женским, более тревожным чувством... Я начал догадываться, что новая погудка загудела на старый лад, то есть, что Кёлосов... понемногу... холодеет... Это открытие меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовал ни малейшего негодованья против Андрея.

Промежутки между нашими посещениями становились все больше и больше... Варя начинала встречать нас с заплаканными глазками. Послышались упреки... Бывало, я спрошу Кёлосова с притворным равнодушием: «что ж? пойдем мы сегодня к Ивану Семенычу?..» Он холодно посмотрит на меня и спокойно проговорит: «нет, не пойдем». Мне иногда казалось, что он лукаво улыбается, говоря со мной о Варе... Вообще, я не заменил ему Гаврилова... Гаврилов был в тысячу раз добрей и глупей меня...

Теперь позволюте мне небольшое отступление. Говоря вам о своих университетских товарищах, я не упомянул о некоем господине Щитове. Этому Щитову минул тридцать пятый год;